

Рабочий лист по родной литературе

Тема: «Воспоминания П.А. Катенина о А. С. Пушкине»

Класс: 9

Дата: 21 апреля

Учитель: Смирнова И.В.

Задание: изучи «Воспоминания о Пушкине»

Павел Александрович Катенин (1792—1853) —драматург, критик и поэт, одно время близкий Грибоедову, Жандру, Кюхельбекеру, Шаховскому, театральным учителям Колосовой и Каратыгина. В 1817—1818 гг. был одним из лидеров преддекабристского «Военного общества»; в 1822 г., высланный за оппозицию и фрондерство в свою деревню Шаево Костромской губернии, оказался в политической и литературной изоляции. Его отношения с Пушкиным чреватые обоюдным тяготением и столь же сильным антагонизмом, взаимным признанием литературных заслуг — и острейшей внутренней полемикой. Энциклопедически образованный и оригинальный критик, автор смелых поэтических экспериментов (по отзыву Пушкина в 1819 г. — «полных силы и огня, но отверженных вкусом и гармонией») парадоксально сочетался в Катенине с доктринером, догматичным в суждениях и нетерпимым в повседневном поведении. Эти качества во многом определили литературную и общественную судьбу Катенина — все увеличивающийся разрыв с современностью, роль живого анахронизма, вызывавшего сначала разочарование, затем насмешку и равнодушие. Пушкин находил в нем типичные черты литератора XVIII столетия. Однако Катенин до конца жизни не оставлял литературной работы. Его воспоминания о Пушкине есть своего рода литературное завещание, переданное историку литературы (П. В. Анненкову) и обращенное к историкам; с присущими ему темпераментом и категоричностью Катенин утверждает в мемуарах свои взгляды на литературную жизнь 1810—1830-х гг. Архаик, оппозиционный к новым веяниям, он рассматривает Пушкина на фоне Ломоносова и Державина; он отвергает «Бориса Годунова» и остается холоден к романтическим поэмам, — и тут же вновь обнаруживает своеобразие своей критической позиции, поднимая на щит как раз то, что не было оценено при жизни Пушкина ни «классиками», ни «романтиками», — «Евгения Онегина», «Графа Нулина», сказки, прозу.

П. А. КАТЕНИН

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

Знакомство мое с А. С. Пушкиным началось летом в 1817 году. Был я в театре, Семенова играла какую-то трагедию¹; кресла мои были с правой стороны во втором ряду; в антракте увидел я Гнедича, сидящего в третьем ряду несколько левее середины, и как знакомые люди мы с ним раскланялись издали. Не дожидаясь маленькой пьесы и проходя мимо меня, остановился он, чтобы познакомиться с молодым человеком, шедшим с ним вместе.

— Вы его знаете по таланту, — сказал он мне, — это лицейский Пушкин.

Я сказал новому знакомцу, что, к сожалению, послезавтра выступаю в поход, в Москву, куда шли тогда первые батальоны гвардейских полков; Пушкин отвечал, что и он вскоре отъезжает в чужие края; мы пожелали друг другу счастливого пути и разошлись.

Из Москвы возвратился я через год; все офицеры жили тогда в верхнем этаже казарм, на углу Большой Миллионной и Зимней Канавки². Молодой товарищ мой, Д. П. Зыков, по какому-то случаю у себя угощал завтраком; пришел ко мне слуга доложить, что меня ожидает гость: Пушкин. Зная только графа В. В. Мусина-> Пушкина, я подумал: не он ли? — Нет, отвечал слуга, молоденькой, небольшой ростом; тут я догадался и по галерее пошел к себе.

Гость встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря:

— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

— Ученого учить — портить, — отвечал я, взял его за руку и повел в комнаты; через четверть часа все церемонии кончились, разговор оживился, время неприметно прошло, я пригласил остаться отобедать; пришли еще кой-кто, так что новый знакомец ушел уже поздним вечером. Желая быть учтивым и расплатиться визитом, я спросил: где он живет? но ни в первый день, ни после, никогда не мог от него узнать; он упорно избегал посещения³. Сам, напротив, полюбив меня с первого разу, очень часто запросто посещал, и едва ли эта первая эпоха нашего знакомства была не самая лучшая и для обоих приятная.

Помнится, с самого начала спросил он, каковы мне кажутся его стихотворения. Я, по неизлечимой болезни говорить правду, сказал, что легкое дарование приметно во всех, но хорошим почитаю только одно, и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» По счастью, выбор мой сошелся с убеждением самого автора; он вполне согласился, прибавя, что все прочие предаст вечному забвению, и, кажется, сдержал слово, ибо они появились опять в свет уже после смерти его, как прибавление в конце, под названием «Лицейских стихотворений»⁴.

В то же время работал он над первым из своих крупных произведений и отрывок за отрывком прочитал мне две или три песни «Руслана и Людмилы». Без сомнения, сия поэма была уже гораздо выше ученических опытов; но и в ней еще много незрелого, и тут случилось мне в первый раз заметить в покойнике нечто, может быть, укоренившееся в нем едва ли в пользу его славы на будущее время: он сознавался в ошибках, но не исправлял их. Очень помню, что я заметил ему место, когда Руслан, потеряв меч, приезжает на старинное побоище, покрытое мертвыми телами и оружием, и между ними ищет себе меча; вдруг застонало, зашевелилось мертвое поле, — но Руслан не нашел себе меча по руке и поехал далее. Такой ничтожный конец после такого пышного начала крайне удивил меня; мне вспомнился стих Горация, как гора родила мышь, и я спросил у Пушкина, над кем он шутит? Он бесспорно согласился, что дело не хорошо, но, не придумав ничего лучшего, оставил как есть, в надежде, что никто не заметит, и просил меня никому не рассказывать. Я отвечал, что буду молчать по дружбе, но моя скромность поможет ему ненадолго, и когда-нибудь догадаются многие. Он и в том не спорил, только надеялся, что время не скоро придет, и, может быть, не ошибся.

В ту же зиму просил Пушкин познакомить его с князем А. А. Шаховским, у которого по вечерам после спектакля съезжалось много хороших людей, наипаче молодежи, и время весело шло. Кто-то из их общих знакомых уже прочитал Шаховскому несколько отрывков из поэмы Пушкина, и князь, страстный любитель святой Руси, пришел от них в восторг и также просил меня привезти к нему молодого поэта⁵.

По связям своей юности, слыша от всех близких одно и то же, он на веру повторял; но когда вступил в свет и начал ходить без помочей, на собственных ногах, встречая много людей, мыслящих каждый по-своему, он, как умный человек, тотчас сбросил или хоть скрыл односторонность чужих внушений и приметно старался, угождая каждому, со всеми уладить. Несмотря, однако, на врожденную ловкость, необходимо случилось ему впасть в противоречия с самим собою; я в шутках называл его за это *le jeune Mr. Arquet*; сближение с Вольтером и каламбур: *à rouer*, где бранное слово, как у нас *лихой*, *злодей* и тому подобное, принимается в смысле льстивом, крайне тешили покойника, и он хохотал до упада.

Другие люди не шутя старались вывести его из миролюбивого расположения духа; а как с хорошей целью все средства хороши, то и в выборе не затруднялись тем, что называется совесть; и вот пример. Вскоре после первого издания «Руслана и Людмилы» вышла на сию поэму в «Сыне отечества» критика в форме вопросов; я прочел ее в журнале с большим любопытством, не зная, на кого подумать. Она приметно выходила из круга цеховой журналистики; замечания тонкие, язык ловкий и благородный обличали человека из хорошего общества; поломал голову с полчаса и отстал⁷. Через несколько дней встречает меня Пушкин в театре и говорит:

— Критика твоя немножко колетя, но так умна и мила, что за нее не только нельзя сердиться, но даже...

Я перебил речь:

— С чего ты взял, что статья написана мною?

— Греч мне сказал.

За словом и Греч явился, мы его остановили при входе, и я спросил: на чем он основал свое сказание? С геройскою смелостью отвечал Николай Иванович:

— Почерк вашей руки.

Это уже выходило из рук вон; я с некоторой досадой заметил ему, что, если он не знает моего почерка, не следовало говорить наобум; а если, что вероятнее, знает, и подавно не следовало говорить неправды, и неправды нелепой; ибо кто хочет скрыть имя, скроет и руку, а писца найти нетрудно. Доказательства мои были так ясны, что Николаю Ивановичу оставалось одно средство: отыграться; с двусмысленной улыбкой сказал он мне:

— Простите, если ошибся; по уму и слогу не мог я другому приписать.

Я пожал плечью и отворотился; мне хотелось только разуверить Пушкина, в чем и успел. Тому так давно, что я уже не уверен, при нем ли самом было объяснение или при В. А. Жуковском, который в отсутствие автора заботился об издании и успехе поэмы: тот или другой, для сущности дела все равно⁵.

Сочинителя статьи открыл я несколько недель спустя в том самом Дмитрие Петровиче Зыкове, о ком уже было упомянуто. Этот умный молодой человек, страстный к учению, несмотря на мелкие военного ремесла заботы, успел ознакомиться почти со всеми древними и новыми европейскими языками, известными по изящным произведениям; он был не только скромн, но даже стыдлив и, не доверяя еще себе, таил свои занятия ото всех. Ранняя смерть, на тридцатом году, не позволила ему сотворить имя свое общеизвестным и уничтожила надежды его приятелей. Двое из них — князь Михайло Александрович Дундуков-Корсаков и Дмитрий Климович Тарасов — здравствуют доныне, и я смело ссылаюсь на их свидетельство во всем здесь мною сказанном.

С Пушкиным разнесла меня судьба на многие годы; меня заперла в деревне, а его пустила странствовать по свету. Я писал к нему однажды и получил ответ из Кишинева; мне показалось, что он задел меня за комедию «Сплетни» в послании к Чаадаеву, он, как из ответа видно, опасался: не задел ли я его в комедии, игранный без него; такие недоразумения случаются издали; но у порядочных людей одно слово — делу конец⁸.

Возвратясь в Петербург в августе 1825 года, узнал я, что он проживает в Псковской губернии, сближение завело переписку, а после вступления на престол нового государя явился Пушкин налицо. Я заметил в нем одну только перемену: исчезли замашки либерализма. Правду сказать, они всегда казались угождением более моде, нежели собственным увлечением; еще прежде из тех стихов его, которые по рукам ходили, он всегда упорно отказывал мне что-нибудь прочесть, отзываясь, что они не про меня писаны, и показать их знающему стыдно, и т. п.⁹.

В этот раз помирился он, отчасти чрез меня, с А. М. Колосовой, особенно блиставшей на сцене в ту зиму 1826—1827 годов. Он провинился перед нею, вскоре после ее первых дебютов, довольно плохой эпиграммой, вероятно, также по чужому внушению: потом, в коротеньком послании на мое имя, принес повинную голову и просил моего ходатайства; оно было почти лишнее; умная женщина не может долго сердиться за безделицу.

В мае 1827 года вышел срок моей квартиры, а как до отъезда опять в деревню нужно было еще месяц либо полтора пробыть, давний мой друг и походный однокашник В. Я. Микулин, в то время командир первого батальона Преображенского полка, предложил мне к нему переселиться, что я с радостью принял; когда настал последний день, пригласил я многих своих приятелей на прощальную вечеринку, но сам, озабоченный укладкою, коляскою, лошадьми и прочими скуками сбора в дорогу, попросил А. С. заменить меня в хозяйничании разговором с гостями; он согласился как раз и усердно весь вечер проработал; а когда уже и ночь (NB петербургская в июне) перешла в утро и я совсем готов был ехать, Пушкин, жалуюсь, что со мной мало беседовал, предложил пешком проводить до Невской заставы; так мы прогулялись прекрасным утром и расстались за шлагбаумом; я сел в коляску, а ему попался запоздалый извозчик¹⁰.

В деревню писал ко мне О. М. Сомов, уведомляя, что он вместе с бароном Дельвигом намерен издавать «Литературную газету» и прося в нее присылку; я начал отправлять туда по кускам свои «Размышления и разборы». Между тем попалась мне там статья без подписи под заглавием: «Ассамблея при Петре Первом»; я узнал перо Пушкина и спросил у Сомова: справедлива ли моя догадка? Он отвечал, что нет, что писал другой, кого, однако, назвать не может, ибо автор желает быть неизвестным. Не очень ему веря, я черкнул наоборот, что тем лучше, коли есть другой, и давай Бог третьего, кто бы писал не хуже Пушкина. Хитрость не удалась, и Сомов признался с позволения сочинителя, который, видя, что меня обмануть нельзя, взял письмо со стола и в кармане унес домой¹¹.

Еще до отъезда показывал я ему же, милому А. С., начало «Старой были», почти не решаясь окончить; он, напротив, очень хваля сделанное, убеждал непременно доделать. Сотворив наконец по его воле осенью 1828 года, вздумал я ему посвятить; написал послание в стихах для света и простое письмо в прозе собственно для него, отправил все вместе; ответа не было, оттого ли, что он не озаботился, или что письмо пропало: не знаю. В январе 1829-го получил я от издателей альманах «Северные цветы»; в нем

нашел сообщенную Пушкиным при записке «Старую быль» и ответ его на Послание, а Послания не было, отчего и ответ выходил не совсем понятен. Несколько лет спустя я спросил у него: отчего так? Он отговорился тем, что, посылая «Быль» от себя, ему неловко показалось приложить посвящение с похвалами ему же. Я промолчал, но ответ показался мне не чист; похвалы мои были не так чрезмерны, чтобы могли ввесть в краску авторскую скромность, и я догадался, в чем истинная причина: шутка слегка над почтенным Историографом, и над почтенным Археологом, и над младыми романтиками — вот что затруднило милого А. С. Он боялся, напечатав мои дерзости без противуречия, изъявить род согласия и оставил под спудом. Найденные после смерти в бумагах его стихи мои были помещены в «Современнике», хотя уже гораздо ранее напечатаны в моих сочинениях, вслед за «Старой былью», к которой относятся¹².

Такова была осторожность покойника, пока его не рассердят; но, уже рассердясь, он впадал в другую крайность. Некогда осудив меня в письме из Кишинева за очень умеренную полемику против Сомова и Греча, потому что мне неприлично выходить с ними *in arena*, он сам гораздо хуже поступил, схватясь с Каченовским и Булгариным, когда они его чем-то задели: точно, непристойно Поэту надевать на благородное лицо свое харю Косичкина и смешить ею народ, хотя бы насчет *Выжигиных*¹³.

Приступаю к последнему приезду моему в Петербург, к последней эпохе нашего знакомства. Положение мое жестоко изменилось: имение, за неисправность винной поставки в казну, было взято в опеку; мучительная и опасная болезнь угрожала смертью. Три дела были необходимо нужны: вылечиться, напечатать свои стихотворения и снова вступить в службу; в первом помог граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин-Брюс, во втором — Николай Иванович Бахтин, в третьем — Владимир Федорович Адлерберг, что ныне граф. Я поминаю здесь почтенные имена их не затем, чтобы хвалиться тогдашним их благорасположением, но чтобы отчасти заплатить долг признательности.

Приехал я 1832 года июля 18-го прямо на дачу, где жил граф <Мусин-> Пушкин, на Петергофской дороге, неподалеку от городской заставы. Узнав о том, многие из знакомых поспешили меня навестить, и между первыми А. С. Свидание было самое дружеское. Тут я поздравил его с окончанием «Евгения Онегина».

— Спи спокойно, — сказал я, — с «Онегиным» в изголовье; он передаст имя твоё поздним векам, а конец увенчал все дело, последняя глава лучше всего.

Пушкин знал, что я редко хвалю без пути, а притворно никогда, и, конечно, был рад. Тут же заметил я ему пропуск и угадал, что в нем заключалось подражание «Чайльд-Гарольду», вероятно, потому осужденное, что низшее достоинство мест и предметов не позволяло ему сравниться с Байроновым образцом. Не говоря мне ни слова, Пушкин поместил сказанное мною в примечании, в то же время, в первый раз издавая «Онегина» целиком, чему я даже удивился, получив от него в подарок экземпляр вышедшей книги¹⁴.

Я прочел ее с несказанным удовольствием, и точно — она драгоценный алмаз в русской поэзии; есть погрешности, но где же их нет? и что они все вместе в сравнении с множеством достоинств? Какая простота в основе и ходе! как из немногих материалов составлено прекрасное целое! два лица на первом плане, два на втором, несколько групп проходных, и довольно, и больше не надо. Сколько ума без умничанья, сколько чувства без сентиментальности, сколько иногда глубины без педантизма, сколько поэзии везде, где она могла быть! Какое верное знание русского современного дворянского быта, от столичных палат до уездных усадеб! какой хороший тон без малейшего жеманства, и как все это ново, как редко в нашей скудной словесности! Но я записался об «Онегине»; как ни хорош, пора его оставить.

Безденежье принудило меня на издаваемые сочинения открыть подписку; Пушкин принял в ней деятельное участие, взял для раздачи листов на сто экземпляров и частью из своих рук билеты поодиночке передал, а более с помощью Елисаветы Михайловны Хитровой, женщины по всему необыкновенной, которая была тогда дружна с ним и очень хорошо расположена ко мне¹⁵.

Коль скоро здоровье позволило, я посетил его; но в своем доме показался он мне как бы другим человеком; приметна была какая-то принужденность, неловкость, словно гостю не рад; после двух или трех визитов я отстал, и хотя он не один раз потом звал и слегка корил, я остался при своем; когда, напротив, он посещал меня, что часто случалось, в нем опять являлся прежний любезный А. С., не совсем так веселый, по уже лета были не те.

Генваря 7-го 1833 года мы оба приняты в члены тогда существовавшей Российской Академии, куда и явились в первый раз вместе; сначала довольно усердно посещал он ее собрания по субботам, но вскоре исключительные толки о Словаре ему наскучили, и он показывался только в необыкновенные дни, когда приступали к выбору новых членов взамен убылых¹⁶.

Я был гораздо исправнее, только до сентября; тогда, уже поступив на службу и обмундированный, переселился я в Царское Село, прикомандированный, как и все вновь определяющиеся, к учебному образцовому полку. Отслужив там полгода и готовый отправиться в Тифлис, завернул я в Петербург на три

дни; в гостинице, где я покуда жил, навел на меня Пушкин в последний раз; жена его была больна, и он казался грустен, однако зная, что нам расстаться надолго, — увы! навсегда, — с лишком три часа побеседовал, обещаясь еще зайти на другой день, но не бывал¹⁷.

Во время моего проживания в Ставрополе получил я от него два письма, из коих одно уцелело, а другое пропало¹⁸; в Кизляре узнал я о его несчастной смерти и вскоре потом познакомился там же с братом его, Львом Сергеевичем: мы довольно поговорили о покойнике, о котором есть что и сказать.

Человек погиб, но поэт еще жив; его творения, в коих светится и врожденный дар, и художнический ум, драгоценнейшее по нем наследство, оставленное не только детям его, но всем сколько-нибудь образованным людям, по крайней мере, в России. Скажу об них, как думаю, без лести и без зависти: та и другая мне равно противны, равно презренны.

Да будет позволено мне, ревностному поклоннику Гомера, взять из него подобие: у царя Приама было пятьдесят сынов, но Гектор один, таков у Пушкина «Онегин». Никто из братии не может стать с ним рядом, и все должны с почтением отступить; но о нем уже сказано довольно; обращаюсь к другим.

«Руслан и Людмила»: юношеский опыт, без плана, без характеров, без интереса; русская старина обещана, но не представлена, а из чужих образов в роде волшебного-богатырского, выбран не лучший: Ариост, а едва ли не худший: M-r de Voltaire. Эпизод Финна и Наины искуснейший отрывок; он выдуман хорошо, выполнен не совсем;

Наина-колдунья нарисована с подробностью слишком отвратной, почти как в виде старухи la Fée Urgèle в сказке того же Вольтера, которого наш автор в молодости слишком жаловал¹⁹.

В продолжение десяти лет написанные поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Полтава», «Медный всадник» имели все более или менее успеха в свое время; без сомнения, находятся в них прекрасные места, например: в «Фонтане» ночной приход Заремы к спящей сопернице; в «Цыганах» речь отца, когда роют могилу зарезанной дочери, и уезд всего табора, оставя в пустом поле убицу одного; во «Всаднике» картина постепенного прилива и внезапного разлива реки, к сожалению, конченная совсем неуместной эпиграммой на доброго, ласкового старца, который во весь век ни против кого, кроме себя самого, грешен не бывал²⁰. Все сии поэмы, однако, не выдерживали еще ни разбора дельной критики, ни искусства времени, и судьба их не решена; правда, что если сравнить прочих наших стихотворцев, подобные эпиллии à la Вугон, как-то: «Эдда», «Чернец», «Войнаровский», «Боярин Орша» и пр. и пр. и пр. — превосходство Пушкина во всем бросается в глаза.

«Борис Годунов» стоил автору труда, он им дорожил; несколько промахов, которые легко бы ему поправить, если б только заметил, грех небольшой; отдельно много явлений, достойных уважения и похвалы; но целого все же нет. Лоскутья, из какой бы дорогой ткани ни были, не сшиваются на платье; тут не совсем история и не совсем поэзия, а драмы и в помине не бывало. Гете едва ли не первый вздумал составлять драмы из сцен без связи: таковы у него «Гец фон Берлихинген» и «Фауст»; первого старался он, и не раз, поставить на сцену и принужден был всячески перекраивать, так что теперь в его сочинениях оный «Гец» напечатан трижды и в трех видах; однако ни в котором не устоял. От представления «Фауста» сочинитель уже отказался. Положим, «Фауст» имеет совсем иные достоинства: глубокую основную мысль, смелый титанский взгляд на целый мир, стихию чудесного и на страх и на смех, все, что мог иметь только гениальный немец в исходе протекшего столетия, и под покровительством хоть не сильного, однако независимого государя. Этого ничего не могло быть в «Годунове»; а своеобразная форма, нигде слишком не похвальная, все же терпимее в таком же своеобразном, фантастическом содержании, нежели в складном, степенном ходе земных событий истории. Пушкину хотелось видеть свою пьесу на сцене, но есть ли возможность?²¹

«Моцарт и Сальери» был игран, но без успеха; оставя сухость действия, я еще недоволен важнейшим пороком: есть ли верное доказательство, что Сальери из зависти отравил Моцарта? Коли есть, следовало выставить его напоказ в коротком предисловии или примечании уголовной прозою; если же нет, позволительно ли так чернить перед потомством память художника, даже посредственного?²² Жаль, что «Русалка» не кончена; основа почти та же, что в известной волшебной опере, переведенной с немецкого²³, но исполнение начала обещало нечто хорошее впредь. «Скупой рыцарь» и «Дон-Жуан» неудачно выбраны, и также не кончены: нечего о них и говорить.

Мелких стихотворений без числа; кроме весьма немногих решительно дурных, все читаются и перечитываются с удовольствием; иные невольно врезаются в память, а лучшие играют огоньком, как бриллиантики. Всего менее ценю я злые; человек с дарованием не должен злиться ни на кого, и часто на суде посторонних колкая брань меньше вредит тому, кто выбранен, чем тому, кто выбранил; притом надо всему меру знать: переступить за нее — значит провиниться перед обществом.

Из стихотворений среднего объема отменно люблю я три: повесть «Граф Нулин», балладу «Утопленник» и сказку «О рыбаке и рыбке»; каждая в своем роде прелесть, и как они разнообразны!

Последняя написана чуть ли не слишком вольными стихами: я не мог добраться в ней никакого правильного размера. Хотя Пушкин редко выходил из привычных ямбов и хореев, он знал очень хорошо технику стихосложения и никогда не сбивался; ясно, что здесь он нарочно ото всех правил отдалился, желая приблизиться к говору простонародного сказальщика. Бог простит, лишь бы другие не пустились по примеру писать без складу и ладу: *куда конь с копытом, туда и рак с клешней*.

Из переводов — Анакреонова песенка «Кобылица молодая» и пр. — бурмицкое зернышко; но крупные не удались. Шекспир переделал повесть из Жиральда Чинтио в драму «Мера за меру»: весьма понятно, но драму опять переделывать в повесть с разговорами: странная мысль. «Пир во время чумы» вовсе не стоил чести перевода; но всего непростительнее «Песни западных славян». Тут не одна вина, а две: 1-я — поддельный товар, восковые бусы почел за жемчуг, 2-я, узнав, что сию иллирийскую старину сочинял от безделья на даче француз Мериме²⁴, своего перевода не бросил в огонь. Какой-нибудь адский судья Минос вправе за то наложить на грешника тяжелую эпитимию: прочесть с доски до доски всего макферсоновского «Оссиана» и еще «Книдский храм» Монтескье, и вдобавок «Путешествия Антенора», все три такие же древности.

Проза Пушкина тем только хуже его стихов, что проза, и не знаю, кто бы у нас писал лучше, разумеется, в тех же родах, а в других нет ни причины, ни способа сравнивать. «История Пугачевского бунта» по языку очень хороша, но по скудости материалов, коими мог пользоваться сочинитель, в историческом отношении недостаточна; зато картинную, сценическую сторону любопытной эпохи схватил он и представил мастерски в «Капитанской дочке»; сия повесть, пусть и побочная, но все-таки родная сестра «Евгению Онегину»: одного отца дети и во многом сходны между собою. Другие маленькие романы его не так отличны, но все умны, натуральны и приманчивы; всех слабее, на мой вкус, «Барышня-крестьянка», где известная комедия Мариво «Les Jeux de l'amour et du Hazard»²⁵ так же переделана в рассказ, как Шекспирова драма в «Анжело»; мне, напротив, очень нравится «Импровизатор», ибо так следовало назвать, а не «Египетские ночи», что уже относится ко вставленной импровизации: крайне жаль, что ни ее, ни всего рассказа не успел кончить покойник. Остальное, что в прозе, маловажно, но и о том скажу тоже: всегда умно, и чисто написано.

Ни с живыми, ни с недавно умершими писателями сравнивать его не хочу, и нельзя, и не должно; мы все современники, сотрудники, волей и неволей соперники: не нам друг друга судить. Давно умершие — дело другое; к ним никто живой, ни так ни сяк, пристрастен быть не может; изо всех выберу двух главных.